

и воспроизведены лишь маюскулом) из тридцати пяти (!). Немногим лучше дело обстоит и с латинскими надписями. К сожалению, этот вывод заставляет нас признать, что научная ценность каталогов Государственного Эрмитажа сильно снижена их эпиграфической несостоятельностью.

А.Ю. Виноградов

## La pétition à Byzance / Éd. par D. Feissel, J. Gascou. Paris, 2004. 200 p.

Похоже, что публикация сборников отдельных докладов участников византийских конгрессов, объединенных одной тематикой, становится устойчивой тенденцией. По крайней мере для парижского Центра исследований по истории византийской цивилизации. В выпускаемой им серии монографий есть уже три опыта такого рода: помимо рецензируемой нами книги свет увидели материалы круглого стола по реликвиям, прошедшего в рамках XX Парижского конгресса и сборник статей украинской делегации XXI Лондонского конгресса, красноречиво озаглавленный “Киев–Херсон–Константинополь”<sup>1</sup>. Такая издательская стратегия кажется нам вполне оправданной, ведь ни для кого не секрет, что количество участников данных научных форумов делает уже невозможным полную публикацию всех выступлений, ограничивая ее выпуском пленарных докладов и “преактов”. Поэтому появление сборников, где находят свое отражение новые тенденции в византиноведении или еще относительно слабо разработанные сюжеты, скрывающие в себе определенный исследовательский потенциал, могут только приветствоваться. Именно к таким публикациям, как нам представляется, и принадлежит рецензируемая книга.

Материал, который в ней содержится, целиком посвящен такому явлению, как византийская “петиция”<sup>2</sup>. Причем акцент исследования, по признанию редакторов сборника, смещен от изучения содержания самих документов к исследованию их структуры. Или даже шире – прошение здесь рассматривается как комплексное явление, включающее в себя саму процедуру его подачи, императорский ответ и даже чиновников, участвующих в процессе. Ведь если смотреть на вещи реально, то именно такое прошение, реализующее возможность непосредственной апелляции к высшей инстанции, является своеобразным зеркалом взаимоотношений монарха и его подданных. Нужно только поставить это “зеркало” под правильным углом и попытаться увидеть в эволюции структуры формуляра, процесса подачи жалобы или реакции на нее императора те изменения, которые происходят в этих взаимоотношениях. Ведь изучение подобных сюжетов, как показывает данная публикация, с неизбежностью выводит на более общие вопросы: например, о преемственности римского наследия в политической структуре Византийской империи или об изменении социального статуса отдельных категорий ее подданных на определенном этапе ее развития и т.д.

Первые три сообщения так или иначе касаются римских истоков византийского прошения. Так, норвежский исследователь Т. Хаукен (“Структура и темы в петициях к римским императорам”, с. 11–22), анализируя состав и содержание римских *querella* на данных эпиграфики, приходит к выводу, что они строились по определенной схеме (*inscriptio/ exordium/ pagatio/ pceses*), имеющей явно риторическую основу. Причем данная схема, по мнению исследователя, диктовала минимальную, а не максимальную, длину петиции к императору. Р. Матисен (“*Adnotatio* и *petitio*: Императорское благоволение и особые исключения в ранней Византийской империи”, с. 23–32) сравнивает римский императорский *rescriptum personale* и ранневизантийскую практику императорского *adnotatio* и приходит к выводу о возможности их сопоставления, поскольку последнее во многом ассимилировалось с некоторыми аспектами персонального *rescripta* доконстантиновского периода и стало основным средством

<sup>1</sup> См.: *Byzance et les reliques du Christ* / Éd. par J. Durand, B. Flusin. P., 2004; *Kiev–Cherson–Constantinople, Ukrainian papers at the XXth International Congress of Byzantine Studies (Paris, 19–25 August 2001)* / Éd. A. Aibabin, H. Ivakin with foreword by I. Ševčenko. P., 2007.

<sup>2</sup> Поскольку слово “петиция” в русскоязычной историографии к реалиям византийской дипломатики практически не применяется (видимо, из-за его западноевропейских коннотаций), мы либо ставим его в кавычки (кроме переводов заглавия статей рецензируемого сборника), либо заменяем другими, например, “прошение”, “просьба” или “жалоба”. Мы выражаем благодарность М.А. Курышевой за развернутую консультацию по этому вопросу.

для осуществления персональных пожалований подданным со стороны монарха в ранней Византии. Однако исследование Д. Фесселя (“Петиции к императорам и формы рескрипта в документальных источниках IV–VI вв.”, с. 33–49) дает уже другую перспективу – процесс постепенных изменений в ответах императоров на запросы своих подданных. Отметив разницу между унифицированной формой прошения и наличием разных вариантов императорских рескриптов, он констатирует постепенное увеличение примеров косвенного *rescriptum*, “эманципирующих” ответ императора от оригинала прошения и усиливающих роль его канцелярии. С точки зрения исследователя, зримо этот процесс начинает ощущаться уже в VI в.

Из 10 публикаций сборника половина так или иначе посвящена византийскому Египту. Ничего удивительного в этом нет, ибо наличие многочисленных источников – в данном случае документальных папирусов – и определяет интенсивность исследований. Из всех представленных сообщений, связанных с папирусами, сразу же хочется обратить внимание на публикацию Ж.-Л. Фурне (“Петиция в поздней античности: Между документом и литературой”, с. 61–74), которая – единственная во всем сборнике – переводит разговор в плоскость культурной истории. По мнению французского исследователя, в поздней античности наблюдаются весьма интересные изменения, которые можно назвать “литературизацией” документальных жанров. Так, прошение все более и более подвергается влиянию энцикластической риторики, достаточно сказать, что с конца II и в III в. в нем появляется – а с IV в. утверждается – “про-оймион”, который отсутствовал в аналогичных документах эллинистического и римского времени. Но влияние риторики – не единственный признак сближения литературы и “петиции”. Если, по мнению автора, риторика влияет на структуру и фразеологию прошений, то литература – прежде всего поэзия – часто определяет их лексический состав, вплоть до прямых цитат. Фурне указывает и на такой феномен, как появление особого жанра – “поэтической петиции” (характерные примеры которой можно обнаружить в “досье” Диоскора из Афродито), жанра, еще ждущего своего признания в истории позднеантичной литературы. В эпоху, когда, как резюмирует французский исследователь, энцикластический оттенок ощущался во всяком рассуждении, который касался власти, сама функция прошения толкала его к обновленной форме, на которую оказывали влияния литературные и риторические модели.

Вопросы социальной истории византийского Египта затрагиваются в исследованиях Р. Бегнолла и Ж. Гаску. Известный американский папиролог в своей статье (“Женские петиции в позднеантичном Египте”, с. 53–60) обращает внимание на то, что после 400 г. число женских прошений резко сокращается по отношению к позднеримскому периоду и достаточно убедительно показывает, что этот феномен не является случайностью и не может объясняться плохой сохранностью документов. Активной в последующий период остается лишь одна категория женщин – вдовы, которые, как он полагает, усиливают свой правовой статус по отношению к замужним и незамужним женщинам. Но что же произошло с последними двумя категориями, как изменились их социальный статус и экономическое положение, исключившие их из участия в юридическом механизме? – эти вопросы Бегнолл считает очень важными для изучения основного направления эволюции Египта и остального Средиземноморья на пути от Рима к Византии.

Ж. Гаску (“Частные петиции”, с. 93–103) указывает на интересный феномен VI в., когда прежде стабильные по своему дипломатическому типу прошения начинают замещаться “гибридными” формами, соединяющими формуляр письма и прошения, либо чисто эпистолярный формуляр начинает содержать внутри себя топику “петиции”. Параллельно французский исследователь обращает внимание на изменение адресатов: к 550 г. практически полностью исчезают “петиции” к местным магистратам, зато возрастает число обращений к крупным собственникам. Гаску отмечает, не делая, впрочем, далеко идущих выводов, что подобные процессы могут отражать серьезные изменения в социально-политической структуре византийского Египта и, возможно, Византийской империи в целом.

Во многом сходные положения высказывает и К. Цукерман в статье, посвященной исследованию двух путешествий жителей Афродито в Константинополь в 548–551 гг. (“Два Диоскора или границы петиции”, с. 75–92): не случайно, статьи Цукермана и Гаску снабжены перекрестными ссылками. Исторический сюжет, послуживший основой для исследуемого Цукерманом папирусного досье достаточно прост: жители деревни вручили императору два прошения и получили на них ответы. Но досье, которое об этом свидетельствует, с точки зрения исследователя, является исключительно важным источником по истории этой юридической процедуры и представляет собой уникальный случай противоречий между нормативными

указаниями юридических источников и данными реальной практики в царствование Юстиниана. Как отмечает французский исследователь, век Юстиниана – это апогей византийской “петиции”, где путь такой апелляции к высшей справедливости, воплощенной в личности императора, становится как никогда доступным. Юстиниан, по его мнению, последний представитель замечательной императорской традиции, когда монарх использует свой *gescriptum* как юридический инструмент, выражающий *par excellence* его функцию верховного интерпретатора закона. Во время “темных веков”, как полагает французский исследователь, эта практика оказывается полностью утраченной, и средневизантийский император является и законодателем, и судьей в гораздо меньшей степени, чем его ранневизантийский предшественник.

Однако определенным диссонансом к мнению французского ученого звучат выводы греческой исследовательницы М. Нистазопулу-Пелекиду (“*Deiseis et lyseis: Форма петиции в Византии с X по начало XIV в.*”, с. 105–124). Рассмотрев все примеры византийских документов, известных как *δέησις* (*ὑπόμνησις/ ὑπομνηστικὸν/ ἀναφορά*) и ответов на них, то есть *λύσις* (*ἐπίλυσις/ ἀπολογία*), она приходит к выводу, что, несмотря на свое различное дипломатическое происхождение, они образуют устойчивую пару, которая вполне может быть сопоставлена с позднеримской практикой *libellum/ gescriptum*. Фактически, *δέησις/ λύσις* – это сильно модифицированный византийский “двойник” *libellum/ gescriptum*, эволюция которого, возможно, происходит как раз в период “темных веков”, а отсутствие каких-либо упоминаний о нем в ту эпоху, как считает исследовательница, легко может быть объяснено общей ситуацией с источниками того времени. Как нам представляется, такой разброс мнений свидетельствует о сложности проблемы “континуитета” отдельных позднеримских правовых практик в политической структуре Византийской империи, не имеющей на сегодняшний день однозначного решения<sup>3</sup>. В конце своей статьи М. Нистазопулу-Пелекиду указывает на особого чиновника, *ἐπὶ τῶν δεήσεων*, ответственного за получение прошений к императору и передачу его ответа адресату. Тем самым она как бы “перебрасывает мостик” к статье Р. Моррис (“*Чем на самом деле занимался *epi ton deeseon*?*”, с. 125–140), посвященной исследованию этой интересной должности византийского двора, в основном на материале X–XII в. Исследовательница отмечает особую социальную и политическую важность этой должности, поскольку чиновник, ее занимавший, часто и фактически беспрепятственно получал доступ к особе монарха. Но влияние такого “канала общения”, как полагает исследовательница, было двояким: с одной стороны, через него косвенный доступ к императору могли получать представители имперской элиты, но, с другой стороны, сам император старался использовать это средство, чтобы распределить власть и свое расположение, а также доводить свою волю до ушей подданных. Не стоит, наверное, напоминать, сколь большое значение могли иметь такого рода “приводные ремни” в особом культурно-политическом механизме византийского императорского двора.

Редакторы сборника в своем предисловии указывают, что, организовав круглый стол, посвященный византийской “петиции”, им хотелось бы сопоставить отдельные исследования по этой теме и определить перспективы ее изучения. Как нам представляется, рецензируемое издание в большей степени намечает перспективы изучения данного сюжета, чем подводит итоги его исследованиям. Поэтому своеобразной квинтэссенцией сборника можно считать последнюю его публикацию – инвентарь византийских “петиций” на папирусах V–VII вв. (118 позиций), подготовленный Ж.-Л. Фурне и Ж. Гаску (с. 141–196), который представляет собой хорошую основу для последующих изысканий. Ведь его составители подходили к отбору очень тщательно, руководствуясь, по их собственному признанию, строго техническим определением “петиции”: за пределами их инвентаря оказались как письма с формуляром “петиций”, так и документы, отнесение которых к категории прошения из-за плохой сохранности текста крайне спорно.

*А.А. Войтенко*

<sup>3</sup> Правда, редакторы сборника указывают, что более корректной параллелью *λύσις*, составленном на обороте просьбы, может быть не позднеримский рескрипт-апостиль, а практика ответов на западноевропейские средневековые петиции к монархам, и ссылаются при этом на материалы коллоквиума по данной теме (*Suppliques et requêtes: Les gouvernement par grâce en Occident (XII<sup>e</sup>–XIV<sup>e</sup> siècles)* / Éd. H. Millet. Rome, 2003). Однако, как нам представляется, окончательно проблему это не снимает.